

ДЕТИ И ТРУДОВОЙ ФРОНТ В ТЫЛУ
(К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов)

Вместо предисловия

Воспоминания о своем детстве и юности я полагала посвятить только собственным детям и внукам, выросшим совсем в иной обстановке, в другой среде. Признаюсь, что даже при нечастых встречах с младшим братом Виктором мы избегаем разговоров о пережитом в детстве: слишком тяжелы и горьки воспоминания о той поре. Война настигла нас, когда ему было 9 лет, а мне 13, и связала общими, не по годам тяжкими заботами и трудом, невосполнимыми утратами и ранним взрослением.

Но я решилась на публикацию некоторых фрагментов своих "мемуаров", непосредственно касающихся темы Великой Отечественной войны. Страна и все передовое человечество с небывалой активностью готовится к 65-ой годовщине Победы в самой кровавой и жестокой войне XX века. И это радует. Много ли осталось живых участников и свидетелей той героической и поистине трагической эпохи?

Аpart (мысли вслух, в сторону от местных организаторов кампании по подготовке к юбилею). Отмечу, что ко мне обратились с вопросом: являюсь ли я ветераном труда в тылу? Если да, то смогу ли я подтвердить это справкой (?) или свидетельством двух людей (очевидцев? ровесников?). Меня удивило такое внимание к своей персоне. На государственном уровне принято считать участниками трудового фронта всех детей от 12 лет и старше, переживших войну. Мне 82 года. Трудовой стаж - 53 года (по сути два стажа), из них почти полвека - 49 лет - трудилась в Горно-Алтайске. Кто мог бы засвидетельствовать, что я в 41-45 годах трудилась в давно покинутых мною местах? А главное - зачем нужны такие "почести", скрашенные потрясающим формализмом? Да простится мне обращение за помощью к великому Пушкину, который изрек:

...Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Я надеюсь на то, что молодые читатели, которые прикасаются к истории ВОВ по еще не совсем устоявшимся в истине учебникам, правильно воспримут конкретные картины и факты из жизни школьницы одной конкретной деревни в глубоком сибирском тылу в памятные годы войны.

Зудилово. Война. "Дачный"

"Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!
Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?"

Л.Н. Толстой

- Даже если эти воспоминания отдают горечью недетских душевных и физических испытаний и невосполнимых утрат.

Сегодня, в год 65-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, я возвращаюсь памятью к годам своего детства и ранней юности и с высоты своих 82 прожитых лет пытаюсь осмыслить, на каком фундаменте сложной, противоречивой и поистине трагической эпохи формировались характеры, мировосприятие, нравственные основы жизни моего поколения людей и конкретно мой внутренний мир. Ведь моему и последующим поколениям удалось не только вынести тяготы войны, но и восполнить тяжелейшие утраты, восстановить разрушенное, укрепить мощь страны, обеспечить более чем на полстолетия мир на нашей земле.

В своих воспоминаниях я коснусь лишь тех картин и фактов по теме "детство и война", которые с особой эмоциональной остротой и отчетливостью отпечатались в памяти и не потеряли, как мне кажется, своей силы и связи с настоящим, с сегодняшним мироощущением.

К началу войны наша крестьянская семья - родители и пятеро детей - после восточносибирской ссылки не вернулась на Украину, а обосновалась в одном из пригородов Барнаула. Небольшое село с некрасивым названием Зудилово (что меня долго по-детски смущало) стало поистине второй родиной для нашей "приезжей" семьи. С этим селом связаны и светлые воспоминания о людях, тепло и добросердечно принявших в свой мир вынужденных переселенцев, и самые трагические страницы биографии семьи. Зудиловский период нашей жизни оказался коротким и суровым. Здесь прошли мои школьные годы. Здесь мы потеряли трехлетнюю мою сестренку, не перенесшую голодных и неприятных передраг ссылки. Отсюда в начале 42 года мы проводили на фронт отца. В первом же и для него последнем бою он погиб в "горячем снегу" Сталинграда, не успев отправить домой бумажный треугольничек - свидетельство героической обороны волжской твердыни. Теперь храним фотографию обелиска с фамилиями погибших в боях за Сталинград, среди которых есть и наш отец Крайванов Р.И. Ему было 45 лет.

Мама ушла из жизни в возрасте 48 лет, всего лишь два года спустя после Победы. Одиннадцати дней не дожидаясь своего 30-летия старший брат Лев, демобилизованный из армии в 1942 году безнадежно больным, хотя не участвовал в боях, так как служил на Дальнем Востоке, где предполагалось начало агрессии со стороны Японии. Так, от большой родительской семьи в 7 человек осталось только трое младших ее членов: старшая сестра Елена (1924 г.р.), я (1928 г.р.) и брат Виктор, родившийся в Иркутской области в 1932 году. Все мы сохранили фамилию наших родителей. Все трое выстояли перед ударами суровой исторической эпохи, в числе немногих первыми из

зудиловских детей получили высшее образование, все трое давно покинули это село. Теперь в роду Крайвановых, бывших сирот, есть и научные работники, и высококвалифицированные специалисты в области филологии, строительной инженерии, медицины, экономики, компьютерной техники и другие. Смею думать, что мы достойно храним память о рано ушедших родителях, которые сумели с детства привить нам нравственное здоровье и гуманные жизненные ориентиры.

Кратко представлю наше Зудилово той поры.

По всем статьям оно заслуживало статуса дачного поселения. Расположено всего в полутора - двух километрах от линии железной дороги Новосибирск - Барнаул, протянулось двумя своими улицами вдоль правого берега речки Черемшанка, тихой в летнюю пору, но в весеннее половодье она подмывала и обрушивала бурными водоворотами высокий правый берег. С пушечным грохотом река отвоевывала метр за метром значительные участки торной дороги от села к полустанку. Уже в те годы началось строительство второй линии железной дороги Рубцовск - Барнаул - Заринск, которая теперь пролегает прямо через центр села, изменив давний маршрут жителей на Барнаул.

Село со всех сторон окружено сосновым бором, что уже в те годы придавало ему значение великолепной рекреационной зоны: целительный воздух, насыщенный терпким запахом смолистой хвои, голубизна неба и под стать ему сплошной ковер незабудок, покрывающий "тот" берег реки; сладковатый запах кукушкиных слезок, хрупкое изящество синих лесных колокольчиков и белоснежная чистота первоцветов - все это в десятках метров от нашего дома. По субботам, как обязательный ритуал при всей бедности нашего быта, мы бегали за речку, чтобы принести букет цветов и украсить им стол.

Очевидно, задолго до нашего приезда, возможно после октябрьской революции и гражданской войны, на границе нашего села с соседним Белоярском под сенью соснового леса располагались корпуса туберкулезного санатория - в тишине, уединении, отдаленно от жилых сельских застроек. В другом конце деревни, тоже под покровом соснового бора, расположился Дом отдыха, который функционирует и поныне под простым и выразительным названием "Сосновый бор". В годы ВОВ он был превращен в госпиталь для раненых и инвалидов-фронтовиков.

Зудилово, в котором прошли мое детство и школьные годы, дало мне ощутить бескорыстную щедрость, красоту и гармонию сибирской природы. Она расширяла горизонты познания, пробуждала воображение, обогащала образами и ассоциациями, развивала эстетически. "Зеленые косы" тины в реке напоминали о русалках, и я боялась приближаться к местам, затененным высоким берегом, где купались старшие. Глинистые стены левого берега напоминали пчелиные соты: в них стрижи выточили бесчисленные гнезда-ячейки. Мы замороженно наблюдали за молниеносно стремительными выражениями птиц и точным, слету, попаданием их в свое гнездо. Серебристо-

зеленый тальник, колышущийся даже от легкого ветерка, при долгом наблюдении казался живым и таинственным. Как будто кто-то невидимый встряхивает покрывало то глянцево-яркой, то белесово-тусклой стороной. И приходили на ум с детства знакомые строчки баллады "Тростник". Мы пели, не зная тогда ни автора слов, ни кто положил их на музыку:

...Сухой тростник он срезал
И скважину проткнул;
Один конец зажал он,
В другой конец подул.

И, будто оживленный,
Тростник заговорил:
То голос человека,
То голос ветра был.

И пел тростник печально:
"Оставь, оставь меня,
Рыбак, рыбак прекрасный,
Терзаешь ты меня!.."

Тогда мы не знали, что поем стихи Михаила Юрьевича Лермонтова.

В детском воображении и моей душе природа и поэзия воспринимались в неразрывной связи, а общение с природой органично входило в каждодневную жизненную практику, в наш образ жизни. Сбор ягод в "казенном" бору и в зарослях старого русла Оби - в десятках километрах от дома - был нашей детской летней повинностью. Мы ее выполняли охотно, даже азартно, хотя она была сопряжена с большими испытаниями жаждой. Наши походы длились от зари до зари, до позднего вечера. Помню себя и свои ощущения свежо, отчетливо и в неразрывной связи с окружающим миром, полным звуков, запахов, движения - и тайны. И теперь, 70 лет спустя, в воображении оживает картина. Мы кучкой в 5-6 подружек возвращаемся в сумерках по пыльной дороге, которая вела к паромной переправе через старое русло Оби. По обе стороны дороги - сосновый бор, высокий и густой. Босые ноги ощущают, как быстро остыла дорожная пыль. Она уже не кажется такой мягкой: за день крепко набило ступни усталых детских ног. Рано утром, идя навстречу солнцу, мы оживленно вели беседу, чаще всего пересказывали прочитанные в случайном наборе новеллы Мопассана, Эдгара По, роман Андерсена Нексе "Дитя человеческое", "Остров сокровищ" и другие. Я удивляюсь, что от старших мне попадали в руки в основном зарубежные писатели, иногда совсем не детского плана. Со временем я оценила значение этих "пересказов": они рано стимулировали мою память и речь. На обратном пути уже было не до разговоров. Сильнее физической усталости было чувство страха перед темным лесом. Он не позволял повернуть голову направо или налево, казалось, будто брошенный в сторону леса взгляд непременно вызовет какие-то страшные таинственные силы, которые сейчас молчат, но следят за каждым нашим

движением. И невольно мы понижаем голос, чтобы не разбудить лес, и смотрим только вперед или под ноги. И ожидаем, что вот-вот приблизимся к полотну железной дороги, а там мелькнут огоньки построек, и уже не будет так страшно, мы вырвемся их невидимой, но осязаемой власти леса.

Много лет спустя, когда я по-настоящему увлеклась поэзией Ф.И. Тютчева и впервые прочитала стихотворение "Песок сыпучий по колени...", я была поражена абсолютным сходством воссозданной им картины и, главное, ощущения с пережитым мною в детстве:

Песок сыпучий по колени:
Мы едем - поздно - тает день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий -
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стокий,
Глядит из каждого куста!

Мои детские впечатления, остро переживаемые ситуации, я полагаю, помогли мне со временем глубже почувствовать и распознавать истинную поэзию, различать подлинную лирику и просто "стихи", какие часто заучиваются в школе, не оставляя следа ни в душе, ни в сознании. Удивительно, что Тютчев мне открылся не хрестоматийным "Еще в полях белеет снег..", а совсем другими строками, например:

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою
И дрожащими листьями,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

Так же, с необъяснимой, фатальной услужливостью, моя память подсказывает мне ни с какими другими несравнимые по своей силе и выразительности даже не строки, а стоны и живые образы Тютчева:

О, этот Юг, о, эта Ницца!
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет - и не может...
Нет ни полета, ни размаху -
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

По своей природе я не пессимистка, но за долгие годы опыт научил меня воспринимать жизнь, выражаясь современным слогом, более адекватно, во всех ее противоречиях и драматизме. Пытаюсь по возможности опровергнуть расхожую обывательскую сентенцию: "Это жизнь, а не твоя (Ваша)

литература"; "Ты живешь (Вы живете) представлениями о литературе, а не о жизни". Нет, убеждена в обоюдной связи искусства и жизни в формировании личности. Эта связь и делает человека человеком духовным. Под влиянием литературы личный опыт обогащается, а самое главное - осмысливается глубже, шире, гуманнее - и в философском, и в нравственном, и даже в бытовом плане, не говоря уже о такой тонкости, как эстетические чувства. Приобщение к литературе, к искусству - кладези вечной человеческой мудрости и культуры - делает человека подлинно интеллигентным.

Жалею, что в свое время не нашла возможности глубже поинтересоваться историей села Зудилово, с которым судьба связала нашу семью и которое оказало большое влияние на формирование моего внутреннего мира в самый продуктивный период развития. А окружающая среда - это не только природа, но, может быть, в первую очередь - люди. На составе жителей села сказались и политические, и экономические, и социальные процессы, происходившие в стране в разные периоды истории, особенно заметные в XX веке. Здесь смешались выходцы из самых разных губерний России: вятичи с их особым диалектным "цоканьем" и "чоканьем", мордва (начиналось село с мордовского края, в отличие от другого - "заводского" края, где когда-то была сооружена плотина и работала мельница). Значительную часть населения составляли украинцы ("хохлы"), о чем красноречиво говорили их фамилии: Гермаш, Каланчук, Любченко, не столь определенно - наша фамилия Крайвановы.

Мне памятно появление многих новых людей в две исторические волны: 30-ые годы и годы Отечественной войны; это мои школьные годы. Судьбы этих людей, их "тайны" оказались доступными нам гораздо позже тех событий, следствием которых было их появление в сибирском захолустье.

Помню, как в сельпо (тогда - центр культурной жизни и доступный всем канал информации) сменялись портреты высших чинов страны. Кого-то убрали со стены, выставили портрет Ежова, как оказалось, не надолго. Школьная детвора бойко повторяла строчки стихов (не Демьяна ли Бедного?): "Не уйдете от суровых от Ежовых руковиц!". Мы не связывали "ежовы" руковицы с реальными фактами исчезновения отцов наших одноклассников по статье 58-ой. Мы легко поддавались влиянию распространяемых кем-то - по невежеству или сознательно - слухов о каких-то тайных шифрах в рисунках на тетрадных обложках и с пионерским энтузиазмом пытались их раскодировать, считая это важным гражданским и государственным делом. Так в памяти отпечатался 1937 год. В деревне не было ни радио, ни телефона, но волны от происшедшего далеко от нас, в центре страны, в Москве, широкими кругами, а в детском сознании мелкой рябью расходились по всем углам провинциальной жизни. Да уж и не такой глушью она оказывалась. Был "дачный" поезд, была сельская интеллигенция, учителя, которые доступными им средствами и способами пробуждали в нас "чувства добрые" и учили мыслить.

1937 год - это и год столетия со дня гибели Пушкина. И наша семилетняя школа активно включилась в подготовку к знаменательной дате. Я долго недоумевала,

почему мне, второкласснице, учительница дала для чтения наизусть такое неинтересное стихотворение Пушкина - "Туча". Смущаясь от первого публичного выступления со сцены, я читала, не поднимая от пола глаз. Долго потом меня мучило это обстоятельство: не то, что я читала, а то, как читала.

Почти всю жизнь меня смущала публичность, я терялась перед взорами аудитории. Думаю, этот комплекс возник от необычных условий жизни в детстве: стеснялась своего украинского акцента, хотя от него вскоре не осталось и следа; своей "чужеродности" среди коренных жителей села; тревожила необходимость быть сдержанной, "не болтливой" в отношении прошлого нашей семьи. Это должно было сказаться и на характере, хотя в школьные годы никогда не испытывала недоброжелательности со стороны сверстников. Напротив, явно ощущала заботливую бережность в отношении к себе как к самой маленькой в классе, требующей защиты или опеки старших. Профессиональный тренинг учителя-словесника и преподавателя вуза научили меня справляться с "комплексами". Мои слушатели и коллеги, наверное, не предполагали, какое волнение скрывалось за отмечаемыми ими "абсолютным самообладанием", "верным ритмом и интонированием речи".

А тогда, в 1937 году, я думаю, учительница пыталась через мой детский лепет передать глубокий смысл пушкинского стихотворения зрелой поры творчества, его актуальность для совсем другой эпохи, но с такими же политическими грозами, бурями и потрясениями. Самим выбором стихотворения она пыталась обозначить и свою нравственную и гражданскую позицию.

...Ты небо недавно кругом облегла,
И молния грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась...

Гораздо позже я поняла, что пейзажная образность стихотворения "Туча", и сама по себе яркая, эмоционально одухотворенная, проникнута истинно пушкинским глубоким гражданским и политическим пафосом. Кстати отмечу, что никогда больше я не обращалась к этому произведению специально, но оказалось, с детских пор помню его наизусть. Спасибо моей первой учительнице.

Размышляю о психологии восприятия искусства. Это предмет моих неизменных профессиональных предпочтений как методиста-словесника и в практической работе, и в научных исследованиях. Убеждена, что к серьезному искусству слова детей можно и нужно приобщать с ранних лет, но делать это надо умело и в меру, памятуя слова Сергея Образцова: "Осторожно - искусство! Осторожно - дети!". Эстетическое восприятие искусства предполагает развитие наблюдательности, эмоциональной сферы ребенка, живого воображения, без которого невозможно ассоциативное мышление - способность видеть предмет в

его многосторонних связях - временных, родовых, причинно-следственных. А это уже область логического мышления - составляющая мировоззрения человека. Многие начала в таком развитии давала мне в детские и школьные годы деревенская среда.

Атмосфера в родительской семье также способствовала развитию детей. Родители не стесняли нашей свободы, но не допускали и праздного ничегонеделанья. Мы всегда были заняты каким-то делом: собирали ягоды и для себя, и для продажи, ухаживали за огородом, включая его вскопку, прополку, полив и уборку; заготавливали веники и полезные травы; "допасывали" в вечерние часы корову после ее дойки; помогали в заготовке дров и сена, в уходе за скотом. Мы хорошо знали цену копейки: ведь в доме до Отечественной войны единственным работником-кормильцем был неутомимый отец, успевавший, кажется, все охватить, заготовить, купить, обменять, соорудить, утеплить, построить. Он не успел лишь сам хорошо обжить поставленный дом, купленный на слом в отдаленном селе и перевезенный в Зудилово.

Родители, не имевшие никакого специального образования, в крестьянских делах и в семейном быту были мастерами на все руки. Приучали к порядку в любом деле и детей, поощряя интерес к знаниям и к доступным видам искусства. Я в семье была третьим ребенком и третьей школьницей. Это обстоятельство во многом и определяло мое развитие. До поступления в школу я без каких-либо усилий, жадно и легко вбирала в себя все то, чем жили, о чем говорили, что учили, что читали старшие брат и сестра. Особо выделяю влияние брата Левы - натуры художественной, щедро одаренной от природы. Он хорошо рисовал, писал и красками. Его рисунки выставлялись и воспроизводились в краевой газете, когда он учился в старших классах 42-ой школы Барнаула. Газетные репродукции я храню в личном альбоме до сих пор. Закономерным было и его поступление на архитектурный факультет Ленинградского строительного института - ЛИСИ, который в дни ленинградской блокады был эвакуирован в Барнаул. Но болезнь не позволила завершить образование. Лева пробовал писать и стихи, и даже роман, проверяя на моем восприятии качество своих творений. Он прекрасно играл на гитаре, на мандолине и на балалайке. Других инструментов в селе не было. Чем бы мы ни занимались дома или в поле, мы всегда пели. Знали украинские народные песни и все лирические песни военного времени.

Черпали мы, приезжие дети, и из знакомства с интересными людьми села. Особенно запомнилась чета пожилых интеллигентных Тимошенских (если не ошибаюсь в точности звучания фамилии). В деревне они поселились, очевидно, в 20-ые годы. По облику, манерам поведения, по деталям домашней обстановки это явно были люди из дворянской среды. К нам они питали особую симпатию, видя в нас благодарных слушателей рассказов о путешествиях по странам Европы, пения старинных романсов и интерес к старинным фотографиям в богатейшем альбоме.

С началом ВОВ резкие перемены произошли в составе жителей села. Ушли на фронт молодые парни и семейные мужчины, остались лишь те из них, кто имел бронь как работники военных заводов Барнаула. На этих заводах работали также девушки и молодые женщины из нашего села. Ежедневно два раза в сутки их увозил на работу наш бессменный труженик "дачный".

Эвакуированные. Мои учителя

Война до самого основания изменила "лицо" деревни, ее будни, ее жителей. Деревня приняла под свой кров много новых людей, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Одессы и других городов. Зигзаги исторической и политической жизни страны и Европы забросили в сибирскую провинциальную глубинку детей из Польши. В течение всего военного времени в Зудилове располагался Детский дом для польских детей, чьи родители - высшее польское офицерство - были расстреляны тайно по приказу Сталина и Молотова. Только недавно трагедия польской Катыни получила мировую огласку. Осталось в памяти несколько моментов из жизни этих несчастных жертв преступной политической игры. Польские дети моего возраста и чуть постарше носили необычные головные уборы, по которым мы и отличали их: не круглые картузы или фуражки, а странные для нас четырехугольные. Не знаю, овладели ли они за годы своей "ссылки" в сибирский детдом русской речью (мы с ними не общались), но приходилось слышать колоритную русскую ненормативную лексику, когда они небольшими группками проходили по селу к дачному поезду. С пребыванием польского детского дома в Зудилове связана в моей памяти одна история, не делающая чести нашей традиционной культуре и национальному характеру.

Директором необычного детского учреждения был назначен бывший директор школы Н.И.Ф. В условиях войны он сумел извлечь выгоду из своего служебного положения. Обнаружилось, что он свободно распоряжался продовольственным складом детдома и тем самым усугублял положение несчастных польских сирот. Директора сняли, кажется, судили. Учитель поплатился свободой и, главное, своей репутацией.

В Зудиловской школе появились новые учителя - эвакуированные из Москвы и Ленинграда: биолог Ида Соломоновна и математик Евгения Яковлевна. Фамилии их я не помню, но отчетливо сохранились в памяти их образы: внешний облик, манеры, характеры и глубоко тронувшие душу эпизоды из нашей школьной жизни военного лихолетья. Это были прекрасные специалисты в своей области. Думаю, они способствовали повышению качества нашей школьной подготовки, а в нравственном отношении их влияние было несомненным. Я тогда училась в 7 классе.

Биолог Ида Соломоновна - милая и забавная, как нам казалось, старушка из Москвы. А ей было в то время не более 50 лет. Поражал ее интерес к нашему деревенскому быту и к людям. Она знакомилась со знатоками местной флоры. Активная по натуре, она использовала все возможности вынужденного

пребывания в суровой Сибири в своих исследовательских целях, а преподавание в школе давало возможность выживать в условиях голода, холода и бытового дискомфорта под чужим кровом. Как в кинокадре из хроники тех лет, с поразительной ясностью вспоминается один конкретный эпизод на уроке биологии. Как и все местные дети и взрослые, Ида Соломоновна - москвичка - была до бедности скромно одета. В классе холодно. Все укутаны во что только могли. Учительница поймала на себе чей-то изучающий взгляд. Она поняла, что внимание ученика привлекли дыры на ее стареньком вязаном жакете. Я заметила ее крайнее смущение и растерянность. Она, не поднимаясь из-за учительского стола, стала неловко снимать с себя эту одежду - свидетельство униженной бедности эвакуированной учительницы. А ведь учитель в глазах деревенских детей всегда стоял на недостижимой высоте. Помню, никто не смеялся, никто не хотел ввести бедную Иду Соломоновну в конфуз. Наоборот, все почувствовали общность беды, тяжких невзгод, в которые война ввергла и деревенских детей, и столичных учителей, заброшенных в сибирскую глушь.

Математику у нас в 7 классе вела Евгения Яковлевна, эвакуированная, очевидно, из Ленинграда. Жила она со взрослым сыном Гланом, лет 17-18, очень высоким и страшно худым, до белизны бледным. Таких в состоянии дистрофии подростков в наше село привозили после снятия блокады северной столицы. Возможно, по состоянию здоровья он в свое время не был призван в армию, а может быть, я ошибалась в годах этого юноши-акселерата. Приезжие учителя не говорили с учениками о своем прошлом, о прежней жизни. Я только строила свои предположения о нелегкой судьбе этих людей, с которыми свела нас война.

В памяти сохранился один момент, как будто запечатленный скрытой камерой. На уроке мы выполняли самостоятельное задание. Все склонились над тетрадями. В какой-то момент я оторвалась от тетради и взглянула на учительницу. Меня поразило лицо Евгении Яковлевны. Она сидела за учительским столом и смотрела не на нас, а поверх наших голов, куда-то далеко-далеко. А в глазах ее стояли слезы. Она плакала молча. Я поспешила опустить глаза, уткнувшись в тетрадь. Но меня уже занимало не задание, а невысказанные мысли и переживания учительницы. Куда они унесли ее в те тихие минуты урока? Иногда к концу уроков к школе подходил ее сын Глан, и они уходили вместе на чужую квартиру, - она, хрупкая, маленькая горожанка, в фетровых ботиках на каблучках, и рядом с нею - размеренно вышагивал высокий и тощий, как тростинка, ее сын. О чем и о ком тогда страдало и плакало ее сердце?

У многих в ту беспутную пору были свои тайны, свои особые драмы и трагедии, но само время, атмосфера военной поры делали их общими, типическими. Уже тогда я осознала то, что годами позже Константин Симонов выразил словами: "Чужого горя не бывает". Евгения Яковлевна была нашим классным руководителем. Однажды по какому-то официальному поводу она уточняла сведения, чьи отцы ушли на фронт. Дошла очередь до Лоры Малярик, девочки из Одессы. Очевидно, уже приученная дома к фигуре умолчания, Лора ответила

учительнице: "Я Вам скажу на перемене". Ответ нам показался странным, но Е.Я. тактично не заметила этой странности. "Хорошо", - кивнула она головой. Многим из нас, семиклассников, пришла догадка: не все отцы защищают Родину; многие ушли в "безвестность" - или попали в плен, или "пропали без вести" и родные не получили "похоронку", или осуждены как враги народа по статье № 58. В классе было немало таких тайн.

Мы подружились с Лорой, она часто бывала у нас дома, с благодарностью выпивала кружку молока, которым мама каждый раз угощала девочку-одесситку со смоляными черными бровями и ресницами и до странности голубыми, как ясное небо, глазами. Особенность этой красивой и умной девочке придавала и ее певучая речь. Надо было видеть, с каким внутренним достоинством, с осанкой и походкой балерины неспешно вышагивала по деревенской улице южанка Лора. Жалко было нам расставаться, когда пришло время ее возвращения в освобожденную от фашистов Одессу.

Ленинградец М.Г. Левицкий

Близким нашей семье в годы войны стал ленинградец Михаил Георгиевич Левицкий, эвакуированный сначала в Уфу, а потом к нам, в Алтайский край, в Зудилово. Запомнилась незначительная, но нам, детям, забавная деталь: его произношение "Уф-ф-фа". Его приняли на квартиру из небескорыстных, по его собственной догадке, соображений родители моей соклассницы Шуры Т. В двухкомнатной избе теснилось шесть человек. Для М.Г. пространство заключалось только в привезенной в эвакуацию раскладушке, которую развешивали на ночное время посреди "горницы".

Покоряли в этом пожилом человеке (ему было лет 70) терпимость к людям, истинная интеллигентность, чуткость к чужой беде, удивительная скромность, а точнее деликатность, и щедрость души. По образованию он ученый-биолог, но очевидно, уже был в пенсионном возрасте. Жена его погибла в блокадном Ленинграде, там оставались квартира и какие-то родственники. Часто бывая у нас в доме, он никогда не сетовал ни на судьбу, ни на неудобства своего сегодняшнего неустроенного быта. Как искренне он выражал свое сострадание и сочувствие, когда в наш дом пришла похоронка! Как он хотел помочь нам в преодолении отчаяния! И как трогательно поздравлял меня в день 15-летия! Он - эвакуированный и одинокий ленинградец, познавший, что такое голод и дневная норма - кусочек хлеба в вымирающем осажденном Ленинграде, - принес в подарок мне маленькую булочку хлеба в две ладошки величиной, бог знает из какой смеси муки. Он знал, что наша семья не имеет работника, поэтому всю войну не получала никаких продовольственных карточек, о хлебе лишь могла мечтать. А М.Г., человек необыкновенной силы воли и творческой активности, быстро вошел в жизнь села, сблизился с членами промартели "Верный путь" и сам оказался необычайно инициативным и деятельным работником. Он возродил гончарное дело - производство глиняной посуды, в которой нуждалась до крайности обедневшая деревня. И промартель взяла

ленинградца М.Г. под свою опеку. Мама всегда его угощала жареной картошкой и молоком.

Ко мне Михаил Георгиевич всегда обращался на "вы", чем до крайности смущал меня, так как я была не по годам маленькая и худая. Лишения, тяжелые переживания и непосильный труд затормозили мое физическое развитие. Я сама осознавала, какой неказистой я должна была казаться со стороны, и это приносило мне еще более горькие переживания. Наверстала я в своем физическом развитии только в студенческие годы. Признаюсь, что и по характеру, должно быть, я была персоной сложной, трудной: сильно комплексовала из-за своих недостатков. Это коснулось и наших дружеских отношений с М.Г.

Однажды он принес мне в подарок зимнюю шапочку. Сам сшил ее из черного крашеного кролика, распоров что-то из сохранившихся от прошлого вещей. По форме - такую, какую позже называли "таблеткой". В прежние годы, кажется, такие шапочки носили гимназистки, молоденькие городские барышни. Мы же в деревне носили платки, шали. Я упрямо отказалась от подарка, немало огорчив М.Г. Он от щедрой души хотел сделать мне приятное, а мне было стыдно признаться в том, что его шапочка не понравилась. Вот если бы она была не "таблеткой", а шапкой с длинными ушами! Я не понимала, что по невежеству смешивала мужскую шапку с дамской. М.Г. не смог меня убедить и с огорчением унес шапку обратно. Как же мне было досадно, когда я через несколько дней увидела эту шапочку на голове Шуры - дочери квартирной хозяйки М.Г. и моей соклассницы. Для меня это был хороший урок поведения и общения с истинно добрым и интеллигентным человеком. "Так мне и надо! Так мне и надо!" - корила я себя и ругала свое дикарство.

Михаил Георгиевич Левицкий оставил глубокий след в судьбе нашей семьи. После снятия блокады из Барнаула в Ленинград возвращался строительный институт, где учились мои братии и сестра. М.Г. еще оставался в Зудилове до конца войны, но дал адрес своих родственников в Ленинграде, которые на первое время приняли к себе студентов-сибиряков. Трудно теперь представить, какой мерой можно измерить и оценить благородство людей, переживших угрозу голодной смерти, бомбежек и полной разрухи и, тем не менее, способных приютить у себя далеких, чужих студентов. Правда, нашим студентам вскоре предоставили общежитие, но учебные занятия на целый год - на один курс обучения - заменили восстановительными работами, лесозаготовками, строительством Пискаревского кладбища-мемориала и других объектов Ленинграда.

Когда я впервые оказалась в Ленинграде, а это был 1969 год и первый набор методистов педвузов страны на ФПК (факультет повышения квалификации), мне не нужен был гид по уже восстановленному Ленинграду: я узнавала основные его архитектурные достопримечательности по описанию и эскизам брата. Мне было горестно и приятно осознавать, что частицу труда и здоровья в возрождение Ленинграда вложили мои близкие - уже давно к тому времени

умерший брат и старшая сестра Лена. Лесозаготовки в Карелии и у финской границы на всю жизнь оставили память в ее нездоровом позвоночнике. Но Ленинград стал близким городом для нашей семьи. Самые светлые воспоминания и впечатления о нем у меня связаны и с ЛГПИ им. А.И. Герцена, заочной аспирантурой и защитой кандидатской диссертации уже в совсем другую эпоху. Много изменилось в жизни страны, судьбах людей, уже новых поколений. Но неизменным осталось благородство и истинная интеллигентность теперь уже немногих старожилы Ленинграда. К ним я причисляю и своего бывшего научного руководителя Марка Григорьевича Качурина.

Наш верный "дачный"

Вновь возвращаюсь к теме Отечественной войны и к образу "дачного". Выбираю лишь те эпизоды, связанные с ним, которые с особой силой врезаются в память и, по моему убеждению, определили развитие моего нравственного сознания в годы отрочества и ранней юности.

"Дачный" в моих воспоминаниях - едва ли не главный участник трудового военного лихолетья. Он связывал небольшое село с великой страной, ввергнутой фашизмом в страшную войну. Само лексическое понятие "дачный" к тому времени утратило свое значение как определение к предмету - пригородный поезд. Он уже не возил людей из города на лоно природы, на отдых. Он превратился в неутомимого и незаменимого трудягу, который тоже подчинялся законам и режиму сурового военного времени. Он возил рабочих из пригородных сел на военные заводы Барнаула, возил сельских тружеников на импровизированные базары у "лестницы" или на "новый базар", оба вблизи вокзала и заводов. По "дачному" ориентировались в часы работы и тревожного ночного отдыха: "Дачный прогудел на Казачьем", "Скоро дачный придет", "Не опоздать бы на дачный". Нынешнему поколению людей трудно представить, что значило в годы войны опоздать на "дачный". Это опоздать на работу, на военные заводы. Опоздание было немислимым, так как означало прогул. По законам военного времени это было равнозначно вредительству, дезертирству и соответствующему неотвратимому наказанию (статья 58). "Дачный" приучил к дисциплине, к точному расчету времени. Он с детства научил и нас, подростков, ловко и быстро, с грузом в руках или за спиной, подниматься по высоким ступенькам (на полустанках платформы для посадки не было) в тесноту тамбура, а затем - прокуренного, переполненного вагона. Мне казалось, что наш "дачный" понимал и чувствовал беды и заботы тех, кого он возил, кому служил, кого отогревал зимой спертый воздухом надышавшей толпы пассажиров. У меня отходили застывшие в валенках ноги, клонило ко сну (6 часов - уже в поезде). И я ухитрялась дремать, отдавшись воле со всех сторон стиснувшей меня толпы в проходе вагона. Сидели только те, кто ехал из более отдаленных сел. Я, кажется, даже не стояла на собственных ногах, а "хитрила" и висела: было тепло и надежно - не упаду, и груз не тянет к полу.

Из памяти не вычеркнешь и трагические случаи, связанные с "дачным". Под его колесами погибла 12-летняя сестра моей соклассницы Раи Т. Ехали в город фотографироваться, поскользнулась при переходе из вагона в вагон. В их семье так и не осталось снимка, памяти младшей дочери. Погиб и мой бывший одноклассник рыжий Петя К., правда, уже в мирное время. Трагическая история семьи Пети К. заслуживает отдельного раздела в воспоминаниях. А теперь опишу несколько конкретных эпизодов, внешне связанных с "дачным", а по своей сути - со страданиями детей и взрослых в тылу, вдали от фронта самой кровавой войны XX века.

Неожиданная встреча

Этот эпизод имеет некоторую лирическую окраску. В один из солнечных сентябрьских дней я, девятиклассница, помогала в уборке картошки соседке по делянке, работнице МТС, откуда два года тому назад ушел на фронт мой отец. Помощь оплачивалась "натурой": картошка была твердой разменной валютой. Продав одно-два ведра на рынке в Барнауле, мы могли купить самое необходимое: соль, керосин для лампы, спички - без коробка, в рассыпную и меркой, с плоской палочкой-зажигалкой, покрытой горючей серой, и бесценный кусочек мыла и для стирки и для умывания одновременно. "Чистых" денег никто из работавших в селе и "безработных", как наша семья, лишенная отца, не имел.

Кроме меня, одинокая женщина из МТС пригласила в помощь и молодого юношу, возможно, на год-два старше меня. Кто он, я не знала: дальний родственник хозяйки или эвакуированный; может быть, фэзэушник. Хозяйка называла его Игорем; мы почти не общались с ним. Оба чувствовали себя скованно и старались скрыть свое смущение усердной работой. Картошку выкопали в один день. Образ незнакомого паренька мелькнул в моем сознании, как случайный встречный, и растаял. Я бы его вскоре совсем забыла, если бы не злополучная поездка в город с очередной продажей: возила четверть молока - тогдашняя емкость и мера: не бидон и не банка, а большая трехлитровая бутылка. Вечером я ожидала обратный поезд с уже пустой сумкой. Ходила вдоль железнодорожного полотна, пролежавшего внизу глубокой выемки между двумя высокими глинистыми скатами. Отсюда поезд под уклоном въезжал на железнодорожный мост через Обь. На пути в Барнаул "дачный", не доходя до вокзала, высаживал почти всех пассажиров в этой выемке "у лестницы", откуда рабочим было близко к своим заводам. "У лестницы" горожане часто встречали торговцев продуктами. Поэтому понятие "у лестницы" было таким же расхожим, как и слово "дачный".

И в тот день к вечернему поезду стекались истомленные за долгую смену рабочие, в мазутной, истерханной одежде, с угрюмыми, ко всему равнодушными лицами. Было по-осеннему холодно: шел октябрь. Надо было двигаться, чтобы согреть себя движением. И я ходила и ходила, нетерпеливо оборачиваясь в сторону вокзала. И вдруг я увидела его, того застенчивого паренька, с которым в теплый сентябрьский день копала картошку. Боже мой!

Зачем я подняла глаза выше серой усталой толпы? Его вид отдался в душе острой болью. Он не ходил, как другие и как я. Он сидел на склоне горы - один, обособленно от других; и я увидела, что он босой. Совсем разутый. Я - словесник - повторюсь, нарушая нормы литературного стиля: он был "без ничего" на голых ступнях. Я отвернулась, чтобы не встретиться с ним глазами. Но ведь он сидел на склоне, выше толпы, следовательно, уже мог заметить и узнать меня. И я поняла, что ему не только холодно, но и стыдно идти в толпу, где люди будут видеть, как он босыми ногами скользит по склону горы, шагает по шпалам, взбирается по уже обледеневшим ступеням вагона: Я сама, каждодневно выполнявшая непосильную для подростка работу, одетая в многократно перешитую и штопаную одежду и обувь (одну на троих), перед этой беззащитной и унижительной бедностью паренька-ровесника испытала жгучее чувство жалости и неловкости. Я все-таки ездила продавать молоко, а он работал. И ездил на работу разутый. И никакое сочувствие измученных трудом и нуждой людей, никакая "благодетельность" в то жестокое время не могли помочь таким, как он. Тогда уже я твердо понимала, что чужое горе бывает не менее тяжким и болезненным, чем свое собственное.

Второй эпизод укрепил мое убеждение, хотя для себя самой я открыла противоречивость своих представлений о людях и об условностях морали.

Воровка

В ряду многих бедствий, выпавших на людей нашего глубокого тыла (гибель близких на войне, испытания голодом и тяжелым трудом, моральные страдания от разлуки и прочие), приходится говорить и о таком омерзительном и жестоком биче нашей жизни, как кража, и о связанном с нею страхе. Он ежечасно держал людей в напряжении. Неоднократно переживала это тяжелое испытание и наша наполовину осиротевшая семья, но прежде опишу драму, связанную с другими людьми.

Помнится, это случилось летом 43 или 44 года. Мы услышали, что на соседней станции поймали воровку, совершившую кражу в нашем селе. Украла что-то из домашнего скарба: сушившееся белье или одежду. Ее выследили и теперь "дачным" должны были привезти в Зудилово для опознания вещей. Любопытство возобладало над всеми другими чувствами, и я с соседскими детьми тоже пошла к поезду, не предполагая, каким психологическим испытаниям подвергаю себя. Я увидела сцену, которая по своему эмоциональному накалу и по типам ее участников подстать перу Ф.М. Достоевского. Высадили, точнее, вытолкнули из вагона женщину-воровку лет сорока, очень худую, с серым от страха и голода лицом, с глазами, которые, казалось, ничего не видят. Ее окружила толпа местных женщин. Насколько помню, из мужчин был один милиционер. Женщины возбужденно кричали, бранились, угрожали, теребили воровку - кто за руки, кто за волосы. А она молчала, даже не отбивалась, только изредка постанывала. Ее повалили на насыпь. Пострадавшая суетливо обшаривалась кругом, отыскивая подручное средство расправы. Ничего не попадалось под руки. Тогда она загребла горсть

щепня и, задыхаясь, как в истерике, стала тереть этим щепнем лицо несчастной воровки. Я не могла больше смотреть на эту картину "самосуда" и ушла. Я понимала отчаяние женщины, которая таким "неловким" образом наказывала преступницу. Но мне было до ужаса жалко и воровку, попавшую в руки самодетельного правосудия людей, которые, безусловно, страдали от воровства, теряя последнее, что еще не отняла война.

Потрясение от увиденного в далекие годы детства не сгладилось в моей душе до сих пор, как одна из бед, сопутствующих войне, как примета страшного времени. Но моя память, словно иронизируя по поводу моей наивности в оценке времени, подбрасывает и оживляет примеры из другой поры - мирной и благополучной. И я глубже задумываюсь над коварными противоречиями социальной жизни. Много лет спустя, в аспирантском общежитии Ленинграда, еще не переименованного в Санкт-Петербург, я слушала по радио обзор местных новостей. Это было в 1976 году, во времена брежневского застоя. Речь шла о борьбе с воровством на предприятиях и заводах. Озвучивали имена выловленных "несунов": тогда тактично избегали слов "вор", "воровство". Я ощутила, как будто у меня снова закровоточила давняя рана: на многомиллионный город прозвучало имя работницы одной из фабрик, которая украла на производстве одну пачку маргарина. Это был уже не самосуд измученных войной и, возможно, уже овдовевших женщин. Были уже другие, мирные времена и другие, более цивилизованные методы борьбы с воровством. Государственное радио внедряло в сознание граждан вечный христианский принцип "не укради", публичным позором казня личность простого работника, и при этом - за пачку маргарина, цена которой копейки, даже не рубль. Можно ли было тогда предположить, каких масштабов достигнет, четверть века спустя, не банальное и в русской национальной традиции неистребимое воровство, а узаконенный и неузаконенный грабеж национальной собственности на высшем государственном уровне в форме пресловутой приватизации, коррупции, "откатов" и проч. Изменились лишь названия и масштабы: миллионы, миллиарды в "баксах" и других "у.е.". Крадут, почти не таясь, с широким размахом, и не крохи, а заводы, лесные массивы, заповедные места, недра. Перед этим злом бессильны законы, право, суды, госчиновники, Дума, местные власти, так как в этих институтах воры нашли себе крышу, надежное прибежище.

Дети заменили отца. Трудовые каникулы

В своих воспоминаниях о военных годах своего детства и юности я сознательно отгесняла к концу те моменты, которые непосредственно связаны с родной семьей и с моим собственным участием в происходивших событиях. На первый план я выдвигала среду, обстановку и людей, через судьбы которых война прошла своим беспощадным катком. В жизни нашей семьи той поры было не меньше драматизма и тяжелых испытаний. Самое главное, о чем тяжело вспоминать, - это голод, непосильный труд, чтобы выжить, болезни и подтачивающая силы тоска по тем, кого нет рядом с нами.

С уходом на фронт отца все домашнее хозяйство на все годы войны легло на плечи нездоровой мамы и на нас, двух младших детей, на меня и брата Виктора. Наше хозяйство - это огород, дополнительный участок земли от МТС, тайком вскопанные несколько квадратных метров целика в пролеске за селом под просо, корова и две овцы. Все это нас кормило, одевало и обувало. А обрабатывать все это по-хозяйски мы научились с малых лет. Со всех статей "дохода" мы платили натуральный налог, т.е. госпоставку. Это было нашей помощью фронту: теленок или овца - мясopоставка, 215 литров молока плюс обязательный начет до 300 литров, якобы, за недостающую жирность молока; сколько-то (не помню) полагалось сдать шерсти. Признаюсь, отрывали это от себя с болью, но все понимали, что мы этим помогаем стране, фронту в борьбе с фашистами. Утомляли только длинные ежевечерние очереди в единственном на селе пункте приема молока. Но хозяйство помогало выжить. Официально работников в нашей семье не было. Поэтому о хлебе и других продовольственных карточках нельзя было и помышлять вплоть до 1948 года, когда карточки были отменены. На самое необходимое, как я уже отмечала выше, возили на городской базар картошку и молоко.

По окончании местной 7-летней школы я с двумя своими подругами продолжала обучение в старших классах соседних школ: 8 класс - в Белоярске, 9 и 10 - на станции Повалиха, в железнодорожной школе №101. Дорога в школу и обратно ежедневно составляла 10-12 км, к тому же через лес. Не досыпали по утрам, испытывали постоянное чувство голода. Какой манной небесной нам казалась "подкормка" в железнодорожной школе: один раз в неделю нас поддерживали маленьким кусочком хлеба, не более 100-150 г, и один раз в месяц давали неполный стакан сахара, иногда его заменяли несколькими эрзац-шоколадными конфетами из сои. В те голодные годы мы не знали слова "жвачка"; сейчас никого не шокируют ни в школе, ни в общественных местах жующие рты. А в те годы никого не удивляло, что часто даже во время урока, не выдерживая голода, кто-то из учеников начинал грызть жмых. По просьбе делился с другими, разбивая плиточку на мелкие куски. Каким вкусным казалось это лакомство, особенно если жмых был не хлопковый, желтый и сорный, а подсолнечный!

Мы, зудиловские школьницы, брали с собой в школу по несколько вареных картофелин. Но до школы их не доносили, стеснялись. На выходе из леса под условленной сосной мы зарывали в снег свои мешочки с картошкой. На обратном пути торопливо брали свои "сидорки", отогревали картошку у своей груди и ели, утоляя хоть в какой-то мере непреодолимое чувство голода.

В летние каникулы с начала войны и до ее конца (6-10 классы) все школьники в возрасте от 12 лет и старше были "трудообязанными". Мы выполняли все сезонные работы в общественных хозяйствах, помогая взрослым женщинам и старикам. Все сельхозугодья располагались вдали от села, за широкими лентами соснового бора ("ленточные боры Алтая"). Поэтому нас, детей, отвозили на долгое время, до очередного мытья в банях, на полевые станы колхоза. В этих поездках "гуртом", в телегах - сидели спина к спине в два ряда, болтая ногами -

мы находили особое удовольствие и своеобразную поэзию. Ведь хоть раз в жизни надо было видеть, как волнами колышется, переливаясь на солнце, золотистая рожь или пшеница, или совсем светлый овес - и не на картине Шишкина, а вживую! Во время езды отступали невзгоды, брала свое потребность детей в светлых впечатлениях, в смехе и пении. И мы отдавались этим коротким минутам веселого путешествия на поля "битвы за урожай".

Прошло уже почти 70 лет с того времени, но я возвращаюсь памятью к тем годам и удивляюсь: как многому нас научили, как много знаний и умений нам привили эти школьные годы с их обязательными трудовыми каникулами. Летом мы работали. Самой прозаичной и утомительной казалась прополка свекольной и картофельной плантаций, так же, как и поздняя, по холоду, уборка этих культур: обрезка ботвы свеклы, укладка ее в огромные кучи. И утомительно, и грязно, и холодно. Как и у взрослых, болели спины.

Разнообразнее и интереснее были работы на зерновых, начиная с вязки снопов и до сушки зерна. Женщины быстро научили нас делать "вязки" из осоки или стеблей пшеницы (ржи); мы ловко скручивали их, прижимая подмышкой то один, то другой конец вязки. Умело вязали снопы и составляли их в "суслоны" для проветривания и просушки. Мы сами любовались, какими аккуратными и надежными в случае непогоды оказывались наши "суслоны" - шалашики из 4-5 снопов, прикрытые сверху шестым, колосьями вниз. Притерпелись и к тому, что за день такой работы жгло голые руки и ноги, исцарапанные жесткой сухой стерней.

Сегодняшним, особенно городским школьникам, незнакома лексика, связанная с трудовым сельскохозяйственным процессом. Непривычны специальные термины, понятия, которые я использую, касаясь трудовых буден военной поры. А мы без помощи В.И. Даля овладели ими с глубокого детства, и мне не хочется оставлять их в забвении, как те орудия труда, которые сегодня вышли из употребления, ушли в музеи и заменены более совершенными.

Комбайнов на уборочных работах не хватало, поэтому на них работали и днем, и ночью. И все-таки мне довелось испытать, что такое быть подручным на этой хлебоуборочной машине. Рядом, вплотную с комбайном и в ритме с ним, идет лошадь, запряженная в телегу с бортами. Мы вдвоем с напарницей или напарником-мальчиком, стоя на маленькой площадке комбайна, подставляем мешок под струю зерна, которое течет из бункера. Наполненный наполовину мешок надо быстро и ловко подхватить и высыпать в телегу, чтобы снова без промедления подставить его под струю. Наготове и запасной мешок. Процесс уборки не прерывается. Однообразие и заданный комбайном темп работы быстро утомляет. Взрослые, возчик и комбайнер, следят, чтобы их "подручные" подростки не угодили из оплошности или усталости под колеса машины или телеги. А мы невольно поглядываем на солнце: скоро ли конец рабочего дня? Но настоящий аврал мы переживали в момент не комбайнирования, а молотбы наших снопов-суслонов. Как правило, молотилку устанавливали поздним вечером, так уплотняли рабочие сутки. Днем - на ниве, ночь - на току. К

молотьбе готовились особенно тщательно, как к какому-то торжественному и очень ответственному действию. Каждый из участников знал свое место и свою часть работы: подавать и развязывать снопы, умело бросать и разравнивать их на непрерывно движущееся полотно трансмиссии; отсюда с заданной скоростью снопы попадали в барабан молотилки. Нашему бригадиру стоило большого напряжения управлять и агрегатом, и своими помощниками-детьми, чтобы вместе со снопом никого не затянуло в барабан молотилки, чтобы никто не потерял руки.

По окончании обмолота мы едва узнавали друг друга под толстым слоем половы и пыли от вымолоченного зерна. Уборочная страда продолжается. Нам предстоит работать на очистительной машине "клейтон" (не уверена в точности названия, так как в современных словарях не нашла этого термина). Это тип веялки, какую сегодня, наверное, уже не встретишь на токах. Для детей "клейтонить" зерно - нелегкая работа, хотя поначалу кажется простой: черпай "плицей" зерно из большой кучи и высыпай его в пасть веялки, которую рычагом-воротом приводит в движение твой напарник. Провеянное зерно течет на чистый ток, а полуку относит в сторону. Мы попеременно меняемся местами, но детские неокрепшие руки одинаково устают и от той, и от другой работы. Едкая пыль щиплет глаза, прилипает к потному лицу. Руки отказываются поднимать даже наполовину наполненную плицу, а огромная куча намолоченного зерна, кажется, совсем не убывает.

Через некоторое время нас выводят на ток "лопатить" зерно. Это, кажется, самая тяжелая и нудная работа. Деревянными лопатами мы пересыпаем зерно, передвигая огромные бурты едва заметными волнами с места на место. Какая это ответственная составляющая уборки урожая! Нельзя допустить, чтобы зерно "загорелось" от избытка влаги. Наверное, в лучшие времена эту работу выполняют элеваторы или другие более совершенные, чем деревянные лопаты в руках слабосильных детей, машины. Зато каким вкусным казался нам в те незабываемые дни первый кусок хлеба из нового урожая, с легкой горчинкой и запахом полыни! Там, на полевом стане, я познала вкус свежего хлеба из первых убранных снопов, который спешили отправить на фронт. И каким сладким казался короткий сон на свежей соломе в сарае, вповалку, всей гурьбой. Сон побеждал желание посмеяться озорными безобидными проделками или смешными байками за полночь.

На колхозном стане научились мы работать "цепами", очевидно, наиболее древним подручным орудием для молотьбы зерновых. Но мы молотили цепами не пшеницу или рожь, а разбросанные на току сухие плети гороха. Цеп требует сноровки и осторожности, чтобы не подставить под удар его подвижного "била" свою или чужую голову. Работа быстро надоедала и утомляла. Недаром в народе известны пословицы о цепях: "Мужика не шуба греет, а цеп", "Не столько намолотил, сколько голову набил". И вымолоченный горох скоро приелся до тошноты, так как он входил в наше полевое меню почти ежедневно в виде горошницы или горохового супа, почти ничем не приправленных.

Лирическое отступление. Агроном Саша

По ассоциации с моим личным опытом участия в уборочной делаю отступление. Воспроизвожу эпизод, который связан уже с другими лицами и с другим местом действия.

После 8 класса трудовые каникулы я проводила в подсобном хозяйстве МТС, откуда на фронт ушли почти все мужчины, в их числе - и наш отец. Рабочих рук не хватало. Среди нескольких женщин, трудившихся на подсобном хозяйстве, я была одна школьница. Занимались прополкой, уборкой проса, фасоли, редкой в те годы культурой в Сибири, а также картофеля. Здесь, не смущаясь моим присутствием, женщины обсуждали свои и чужие проблемы и секреты, балагурили, развеивая тоскливую атмосферу военных буден. А я среди взрослых привычно молчала.

В один из таких дней к нам присоединилась молодая миловидная девушка. Появилась она в сопровождении мужчины в военной форме, который вскоре удалился до окончания рабочего дня. Так он приводил ее несколько дней. Вероятно, сам возраст сблизил нас. Мы с нею познакомились ближе, и она доверительно рассказала мне свою историю. Я узнала, что Александра Васильевна, как ее представил нам конвоир, хотя она просила называть ее "просто Саша", - выпускница сельскохозяйственного института, по специальности - агроном. Окончание вуза совпало с началом войны. Ее, горожанку, направили на работу в большое зерновое хозяйство Алтайского края. Урожай выдался большой, а осень - дождливая. Зерно сумели убрать и обмолотить, а вывезти на элеватор или просушить в зернохранилищах не смогли. Зерно в огромных буртах стало "гореть". Чем это должно было кончиться, понимали все - и сама Саша, и районное начальство, но помочь было некому и нечем. Саша с грустным юмором рассказывала, как она, промокшая и продрогшая до костей в осеннюю непогоду, снимала свои холодные резиновые сапоги и погружала застывшие ноги в горячую кучу пропадающего зерна. А местный колхозный бригадир подходил к ней, сочувственно качал головой и говорил: "Ах, Александра Васильевна, Александра Васильевна! Нагреешь ты себе лет 10 лагерей по всей строгости законов военного времени". Она и сама знала, что молодого неопытного агронома обвинят в намеренном вредительстве. Так она попала в Зудиловскую ИТК (исправительно-трудовую колонию).

Меня тронул ее грустный рассказ, хотя по натуре, казалось, она не была пессимисткой, не впадала в отчаяние, понимая объективную неотвратимость такого поворота в своей судьбе. Мне, 15-летней девчонке, она открыла свою душу, поделилась, как ей казалось, единственно возможным способом смягчить свое положение. Она чувствовала к себе благосклонное отношение конвоира, крепкого мужчины средних лет. Если она родит ребенка, возможно, ей сократят срок наказания. Кто знает?

Случайная встреча с Сашей, с порога вуза ввергнутой в суровую трудовую жизнь военного времени, "без вины виноватой" в порче хлеба, так нужного

фронту, детям тыла, вымирающим от голода в блокадном Ленинграде и других городах страны, - глубоким резцом прочертила неизгладимый след в моей памяти, углубила понимание чужой души, драматизма жизни, трагедии человека, угодившего в жернова военной "машины времени".

Сенокос

Возвращаюсь к полевым работам в местном колхозе, к сезону заготовки сена. Правда, школьникам поручалась там только посильная работа. Косили траву конной косилкой, но ворошить и подсушивать ее доверялось нам. Мы помогали укладывать сено в валки, а потом верхом на смирной лошади, на которую подсаживали нас старшие, без седла, с помощью "волокуши" свозили сено к месту скирдования. Укладывали сено в скирды или большие стога самые опытные колхозницы и очень редко - мужчины. Иногда и нас, самых проворных и ловких, ставили на возводимые стога или скирды, чтобы мы помогали равномерно укладывать пласты сена и утаптывать его ногами. Нельзя было допустить пустот, стог или скирд должен иметь правильную обтекаемую форму и плотность, чтобы дождь не сгноил сено.

Помощь колхозу в заготовке корма для общественного скота имела и другую форму, уже лишенную для нас всякой романтики и забавы, подобной езде с волокушей. За сезон сенокоса надо было заготовить на зиму сено не только для колхозного стада, но и для собственной коровы. Жить в деревне без коровы-кормилицы было невозможно. Но и корову надо было как-то кормить. Заготовка сена для нас, малолетних детей и больной мамы, поистине была рабской повинностью. Покосы отводились только на колхозной земле, вдали от деревни, за "казенным" бором. Косьба - не детский труд, а в условиях войны и недостатка рабочих рук в колхозе наши тяготы усугублялись необходимостью отработать за покос. Нужно было поставить две копны колхозу и только третью - себе. И мы научились отбивать и "править" косу, умело работать с брусом. В жаркую пору коса быстро тупилась от жесткой травы. Косить легче по росе, но наш путь на покос был очень долог, не менее 15 км. Какими же бессильными оказывались тонкие детские руки, которые после двух-трех взмахов "взрослой" косой беспомощно втыкали ее острие в землю, не хватало сил дотянуть ее до нужной ширины прокоса. С особой заботой и ответственностью мы ворошили - сушили валки, сгребали сено и ставили его в копны, прикидывая их размер таким образом, чтобы каждую можно было уложить на двухколесную ручную тележку. Тележка в те годы была обязательной принадлежностью каждого сельского двора. Без нее - как без рук. Без нее значило быть и без дров, и без сена. Мы втроем все лето не выпрягались из этой тележки. Особенно тяжелой казалась нам дорога "туда" - за сеном (как и за дровами в казенный бор), с пустой тележкой. Наивная детская психология: за 15 км - тащить пустую тележку, даром тратя силы! За день мы могли сделать лишь один рейс с многократными передышками, со скудным дорожным обедом: картофельные драники, пироги с кислой смородиной, подслащенной свеклой, в картофельной корочке - род сразов.

Как горько нам было, когда в сезон заготовок сена и дров у нас украли хорошо слаженную тележку. Трудно было добыть другие колеса, а они оказались широкими в обод от какой-то сельхозмашины. Мы шутили: колеса от трактора. Все остальное сумел соорудить наш 10-11-летний незаменимый домашний умелец Витя. Он нам соорудил и домашнюю крупорушку для очистки проса, он чинил крышу сеновала, сделал хитрый запор для хлева, где мы держали корову и две овцы. Однажды зимней ночью известный всей деревне вор ломиком исковырял дверь хлева, предварительно закрыв входную дверь в наш дом наружной летней задвижкой. Но хитрый запор ему не поддавался. Мы пережили тревожную ночь и благодаря бдительности нашего сторожа Шарика.

К слову пришлось, поэтому упомяну печальную историю самого нашего домашнего сторожа. Дело было в зимнюю пору. Я ушла в школу в одно село, а мама пошла за солью на станцию Повалиха. За нею увязался Шарик, ставший полноправным членом семьи. Мама не смогла его вернуть, и он сопровождал ее до самого магазина. А там его в помещение не пустили. Как выль он и звал хозяйку на помощь, когда мама стояла в тесной очереди и чувствовала сердцем неладное. Выйдя из магазина, она не обнаружила Шарика. Как ни звала его, как ни металась вокруг магазина, его нигде не было. Злоумышленник увел собаку, обольстившись густой шерстью, а может быть, и мясом большой собаки. Для нас эта потеря была настоящей трагедией. Мы все плакали, а маме было особенно тяжело и от сознания своей вины. В отчаянии мы вдвоем с нею, утомленной и подавленной горем, решились на совсем уже безрассудный шаг: далеко за полдень, зимой, мы снова пошли в злополучную Повалиху искать Шарика. А вась, он вырвался из злых рук и откликнется на наш зов, побежит нам на встречу.

На обратном пути, помню, от усталости и тоски у меня было одно желание: хоть ненадолго лечь в мягкий снег на обочине дороги и отдохнуть: Но я понимала, что этого делать нельзя. Мы завели другую собаку, но любить ее так, как умного верного Шарика, уже не могли.

Натруженные с детства непосильным трудом, недетской ношей и транспортировкой, руки, ноги и сердце дают себя знать и поныне. Но в те тяжелые годы войны подобные испытания и беды были знакомы многим, если не всем.

Большие трагедии маленького села

Страшная война не щадила никого и в далеком тылу. Вспоминаю нескольких учителей Зудиловской школы, которые один за другим уходили от нас молодыми. Казалось, они появлялись в Зудилове лишь для того, чтобы в окружении прекрасной природы скрасить свои последние дни до боли короткой жизни. Это два учителя истории, преподаватель английского языка, мой старший брат, в течение двух лет преподававший литературу и рисование.

Не могу не упомянуть еще две трагические истории, связанные с семьями моих одноклассников. У Вани Г. отец был расстрелян в 1937 году, а мать погибла на своем рабочем посту: вместе с другими женщинами во время весеннего ледохода она откалывала льдины вокруг мельничной плотины. Вместе с льдиной унесло и ее. Осталось четверо детей-сирот. Ваня до сих пор остается верным памяти наших школьных лет и нашей дружбе, дает о себе знать в памятные даты. Окончил военную академию.

Л.Н. Толстой писал, что каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Верное наблюдение писателя я хочу подкрепить примером местного значения, памятного с тех давних военных лет. В моих "мемуарах" не оказалось места одной стороне жизни, без которой немислимы ни сама жизнь, ни искусство. Это любовь. Но и любовные коллизии в те годы окрашивались в мрачные тона и чаще всего разрешались трагическими финалами.

Запомнилась точная дата 14 апреля (1942г). Семиклассники уже знали: это дата смерти поэта революции В.В. Маяковского. Знали и слова его записки: "Любовная лодка разбилась о быт:". Весна пришла в наш далекий от фронта уголок. Ярко светило солнце, снег лежал только в тени высоких сосновых борков. В этот день среди школьников разнеслась весть о смерти Клавы К., сестры нашего одноклассника Пети. Клава двумя годами раньше окончила нашу школу. Их отец был директором Дома отдыха, теперь превращенного в санаторий, где долечивались раненые с фронта и инвалиды войны. Нас удивило совпадение дат - 14 апреля. А вскоре стали известны и обстоятельства ее смерти. Она застрелилась. Та же дата - и то же самоубийство. Нас мучила тайна, было очень жаль Клаву. Догадывались, что день она выбрала не случайно, она его ждала, этот день. Семья явно не хотела придавать огласке детали этой трагедии. И тем не менее они стали известны. Оказалось, что миловидная и совсем юная Клава (не более 16 лет) подружилась с одним из фронтовиков. Он вскружил ей голову, и она уже ждала от него ребенка. Тайна этой любви стала известна родителям. Отцу приписывали суровость осуждения дочери. Возможно, смалодушничал и соблазнитель. Так или иначе, Клава решила сама разрубить этот "гордиев узел". Ночью в постели она застрелилась из отцовского ружья. Здесь в судьбу молодых вмешался не просто "быт", а вероятнее всего - война.

Семья Пети К. казалась односельчанам благополучной, интеллигентной. Много ли директоров в те годы было в деревне? Но, побывав в Зудилове уже в другой период (60-ые годы), навестив могилы своих родственников, я узнала от бывших соседей финал истории семьи К. Мать умерла вскоре после смерти Клавы. Петя работал в Барнауле и очень бедствовал со своей собственной семьей, пока не погиб под колесами "дачного". Отец одиноко и долго доживал на территории того же Дома отдыха, ничем не помогая семье сына. Замечали его "помешательство". А обряжая его самого в последний путь, люди обнаружили в его носках тугие обертки вокруг ног из денежных купюр. Трагедия и фарс - две стороны жизни обывателя-отца.

Повалихинская средняя железнодорожная школа №101.

Победа

Несколько строк воспоминаний я посвящаю годам своего обучения в железнодорожной школе №101 станции Повалиха. Для этого есть два мотива. Первый: как ученица этой школы я должна была летом 1944 года поработать на зудиловском участке этой железной дороги. Здесь я оказалась среди мужчин небольшой бригады "путейцев" - своих же соседей, имевших бронь. Они мне поручали посильные виды работ на полотне железной дороги. Я красила известью "пикеты" - чугунные столбики, обрезки рельса, вкопанные в песчано-щебневую насыпь на расстоянии 100 метров друг от друга (это "вешки" - мерка полотна дороги). Небольшой шанцевой лопаткой я копала ямки близ шпал также через 100 метров и брала пробу грунта в специальные пронумерованные пакеты. Так проверялась надежность грунта насыпи, на которой укладывались шпалы и крепились рельсы. Казалось, несложная работа, но к вечеру ломило спину, а я проникалась важностью выполняемой работы; она служила безопасности движения поездов. И не только "дачного". Я здесь наблюдала, как через определенные промежутки времени, без гудка ("дачный" всегда подавал гудок), на большой скорости мимо нас мчались военные эшелоны с орудиями, прикрытыми брезентовыми чехлами. Сквозь них выделялись очертания танков и других орудий. Эшелоны шли в обе стороны, и мы знали: этот - уже на фронт, а тот - в обратном направлении - на барнаульские ремонтные заводы. Мчались составы и с цистернами, и с типовыми товарными вагонами, с приоткрытыми вверху щелями в дверях: это везли на фронт бойцов. С тех пор мне помнятся паровозы с большой красной звездой впереди, а над ней слова - "Колонна ГКО" (Государственный Комитет Оборона).

Второй мотив. Именно в Повалихинской средней железнодорожной школе №101 9 мая 1945 года нам, собравшимся на первые уроки первой смены, сообщили об окончании войны, о такой долгожданной победе. Под ликующие визги и крики "Ура!" на коротком импровизированном митинге директор школы поздравил всех учеников и учителей с великой Победой и, как птиц в святое Благовещение, отпустил всех по домам. Занятия, конечно, были отменены.

Сегодня может показаться парадоксальной выдумкой, но это действительно факт: в село Зудилово, живущее предчувствием скорой победы, весть о ней принесли 9 мая мы, три десятиклассницы. Не принесли, а примчали. Радио и телефона в селе не было.

Было тихое солнечное майское утро. Мама и братишка Витя работали на вскопанной грядке. Мое неурочное появление удивило их, а потом вызвало долгие горячие слезы. Это были и слезы радости, и слезы, казалось, бесповоротного прощания с погибшим отцом. Никогда еще нам не было так грустно. Это сложное даже не чувство, а противочувствие. В этот день мы больше не работали в огороде. Не было сил, были только горькие воспоминания. А вперед, за сегодняшний день, нам было тревожно заглядывать.

По существу, кончался зудиловский период нашей жизни. Я в том же победном году поступила в Барнаульский педагогический институт. Но в Зудилове нам с младшим братом еще предстояло похоронить маму и брата Льва, расстаться с родительским домом, который никого из жителей села из-за бедности уже не мог порадовать своим светлым обликом, палисадником вокруг дома с буйно цветущими астрами, с аккуратным штaketником вокруг двора с травой-муравой и стройной березкой, посаженной мною перед окном. Дом мы с сестрой определили 15-летнему Вите, ставшему студентом Барнаульского строительного техникума. Он подешевке был продан на вывоз, так же, как на вывоз был куплен отцом в отдаленной деревне.

Мы все вступили в новую, мирную эпоху жизни страны и своей собственной. Испытания, выпавшие в годы войны на наше детство и отрочество, закалили наши характеры, волю к жизни, веру в людей, выработали обостренное чувство справедливости и ответственности за свою судьбу, за своих детей и внуков и за свое дело, которому мы служили. Верится, что жизнь прожита не впустую.